

МАКСИМ ОСИПОВ

ПГТ ВЕЧНОСТЬ

МАКСИМ ОСИПОВ

ПГТ ВЕЧНОСТЬ



издательство АСТ

Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
О-74

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Осипов, Максим

О-74 пгт Вечность / МАКСИМ ОСИПОВ. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2017. — 256 с.

ISBN 978-5-17-982688-0

Это пятый сборник прозы Максима Осипова. В него вошли новые произведения разных жанров: эссе, три рассказа, повесть и драматический монолог — все они сочинены в новейшее время (2014–2017 гг.), когда политика стала активно вторгаться в повседневную жизнь. В каком бы жанре ни писал Осипов, и на каком бы пространстве ни разворачивались события (Европа, русские столицы, провинция), более всего автора интересует современный человек с его ожиданиями и страхами. Главное, что роднит персонажей Осипова, — это состояние одиночества, иногда мучительное, но нередко и продуктивное.

Максим Осипов — лауреат нескольких литературных премий. Его рассказы и повести переведены на двенадцать языков.

УДК 821.161.1
ББК

ISBN 978-5-17-982688-0

- © М. Осипов, 2017
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
- © ООО “Издательство АСТ”, 2017
Издательство CORPUS ®

Содержание

Свента	
путевой очерк	9
Фантазия	
рассказ	31
пгт Вечность	
повесть	59
Добрые люди	
рассказ	159
На Шпрее	
рассказ	185
Риголетто	
трагедия вежливости	213

СВЕНТА

путевой очерк

Памяти родителей

Внуково — самый маленький, самый камерный аэропорт из московских, и когда прилетаешь в него, да еще в субботу в одиннадцать вечера, столпотворения не ждешь. Отметки в паспорте, чемодан, всё быстро:

- Откуда?
- Из Вильнюса.
- Что везем?

Ничего особенного: книжки, сыр. Нормы ввоза продуктов тобой не нарушены — проходи.

Но именно тут, на выходе, тебя ожидает сюрприз: мужчины, плотной толпой. Столько народу может встречать, например, самолет из Тбилиси, но нет, не похожи они на грузин. Нету и приставаний — “Такси, такси в город, недорого”, как-то странно тихо, несмотря на толпу. Протискиваешься через нее, а она не редет, люди не расступаются, но и не мешают нарочно — стоят. Крепкие мужики средних лет, безбородые, в темных пальто и куртках, они как будто не видят тебя. Не огрызнутся, не сделают замечания, если колесами чемодана проехаться им по ногам. Кажется, можно щипать их, колоть — не сдвинутся. Непонятная, темная сила из сна: кто они, куда собрались — в паломничество, на хадж? Сейчас выясним: где тут охрана, полиция?

Пробравшись к стеклянной двери, обнаруживаешь, что она заперта, — там, на улице, тоже толпа, но другая, более пестрая, разнополая. Караулит дверь полицейский, в руке у него какой-то сосуд — как же поздно ты все понимаешь! — да ведь это лампада: вечер Великой субботы, люди замерли в ожидании, скоро благодатный огонь прилетит.

— Спецрейсом, из Тель-Авива. Ждем борт.

“Рак зэ хасэр лану” — только этого нам не хватало — весь известный тебе иврит.

Через час или два приземлится борт, начальство под телекамеры раздаст мужичкам огонь, и они лампадами повезут его по Москве, Подмоскovie и в соседние области. Тогда уж и всех остальных пустят внутрь. Легко найти репортаж: люди едут во Внуково отовсюду — “Приезжаем шестой уже год”, “Верим в народ, в страну”.

Ничего, ничего, без паники. Полицейский делает знак:

— Третья дверь на выход работает.

Надо снова проталкиваться, волоча чемодан за собой. Так завершается поездка в Литву.

— Какие эмоции вызывает у вас это место? — спрашивает по-английски девушка-корреспондент зарасайской газеты. Она единственная из пришедших на встречу с тобой и Томасом, переводчиком и издателем, не понимает по-русски.

— Для меня Зарасай — не место даже, а время. — Чтоб не искать слова: — Paradise lost, потерянный рай.

Девушка настораживается: товарищ скучает по СССР? — О, нет! Лишь по тем временам, когда были живы родители.

— Вы, что же, впервые в свободной Литве?

В свободной — впервые. Хорошо не чувствовать себя оккупантом. Пробежался по Вильнюсу, все понравилось, но тянуло сюда. Смотришь по сторонам: новая библиотека у озера (весь город на берегу), кафе начала семидесятых, с колоннами, неработающее (там давали комплексные обеды), костел. Памятника вооруженной девушке (Мельникайте) словно и не было. И природа, как обычно в таких городках, привлекательней построенного людьми.

— Почему было не приехать раньше?

Ответить нечего, только плечами пожать. Отец отсюда писал, почти сорок уже лет назад: “Здесь тихо и бесконфликтно. И в доме, и в городе, где сейчас мало людей, и, наверное, потому со мной вежливы даже на почте. И сам порой себя чувствуешь не занюханым москвичом с перегруженной совестью, и мир видишь иначе — ощущаешь его пронзительность”.

А вот и собственная твоя дневниковая запись пятнадцатилетней давности: “Хочу в Зарасай, где провел столько времени — каждое лето, подряд столько лет. И все-таки еду туда и сюда, только не в Зарасай. Это и означает — жить не своей жизнью”.

Тут ветрено, чисто — почвы песчаные, да и местные жители склонны поддерживать чистоту. Пустынно.

— Просторно, — улыбается девушка-корреспондент.

Да. Вы прощаетесь:

— Приезжайте летом, с компанией.

Неплохо бы. Но из тех, с кем вы ездили в Зарасай, один — в Сан-Франциско, другой — в Амстердаме, с кем-то пришлось рассориться, а несколько человек, включая родителей и сестру, умерли. И ты отправляешься на полуостров, он находится в двух километрах, с южной стороны озера, дорогу ты помнишь — ни навигатор, ни провожатые не нужны.

“Здесь дом стоял...” — двухэтажный, каменный. И следа не осталось, снесли. После смерти хозяев (о которой ты знал) дети делили наследство, дом продали, а покупателям он не пришелся по вкусу, и его уничтожили, со всеми пристройками, сровняли с землей. Хотели сделать что-то свое, но, видно, деньги закончились. Так расскажут соседи, они даже помнят немного вашу семью.

Странно, дом-то был крепкий. С огромным балконом, на него выносили обеденный стол. “Так вот с кем мы дело имеем...” — сказала мама без выражения, — гость ваш, сосед, похожий на Сергея Рахманинова, тоже москвич, сообщил за чаем, что он парт-орг своего института. Мама была молчалива, особенно в сравнении с отцом, но могла произнести и что-то такое, неудобное, в сторону. Она здесь бывала только в июле и августе, а отец — во всякое время. Летом жил наверху, а зимой — тут приблизительно, где теперь стоишь ты. “И вот сейчас выпархивает птица / Сквозь пустоту тогдашнего окна...”

Стихи стихами — исчезновение дома вызывает растерянность: камни, как выясняется, тоже недолговечны. Печально, хотя, разумеется, есть вещи и пострашней, да и ты не Набоков, не Пруст. Походи между сосен по мягкому мху, подойди к воде. Ни высокие старые сосны, ни худенькие деревца возле берега, ни заросли камышей никуда не девались — вот они, тут как тут.

Такое воспоминание: семьдесят восьмой год, август, — тебе, значит, скоро пятнадцать. С Харитишей, дружкой на всю жизнь, одноклассником, вы спустили на воду яхту “Дельфин”, гэдээровскую, клееную-переклееную (тогда было принято ве-

щи чинить), два шверта по бокам — препятствуют дрейфу, дают курсовую устойчивость. Вы отплываете в путешествие по Зарасайскому озеру — ты на стакселе, Харитоша на гроте и на руле. Крутой бейдевинд — готовься откренивать! “Подруга, до свиданья, мамаша, до свиданья, / Иду я моряком в Балтийский флот”. Но у вас оторвался шверт, и вы никак не можете вывести лодку из бухты, волны относят вас к берегу. Вяло, по очереди вы пробуете грести. Отец наблюдает с мостков: он уже несколько раз влезал в холодную воду, выталкивал вас из зарослей. Стоп. У Харитоши идея: “Неплохо бы раздобыть эпоксидки. Шверт присобачить, черт бы его...” — “Ах, эпоксидки!..” Стоя по пояс в воде, отец произносит длинную речь. “Засранцы” — самое теплое слово, которое он подобрал.

Эпоксидка становится именем нарицательным для неуместных идей, а лодку свою ты увидишь — на киноленте, когда начнешь разбирать архив. Начало шестидесятых, к “Дельфину” прицеплен мотор, мачта убрана, отец на корме, мама на водных лыжах катается по Оке. После смерти отца ты стал импульсивен, деятелен, пришло теперь время принять на себя и другие обязанности: вставлять фотографии в рамки, приводить в порядок архив.

После того, что случилось с домом, к исчезновению баньки ты совершенно готов — она была ветхая, деревянная. Мылись в субботу, а в пятницу носили из озера воду, заготавливали дрова. “Хорошо поработали”, — говорил ты десятилетним мальчиком Йозасу, высокому худому хозяину с огромными, очень сильными, черными от работы руками, тебе хотелось к нему подольститься. “Да, дали просраться”, — отвечал он мечтательно. Йозас курил сигареты без фильтра: запах горелой спички и прочее — если захочешь, то вспомнятся и банные приключения, но опять же это путевые заметки, не фильм “Амаркорд”.

Итак, ни дома, ни баньки, и даже мостки заменили на нечто безвкусно-фундаментальное. Не застревай тут, на полуострове, бери с собой Томаса и поезжайте на Свенту, но перед этим — в лес.

Женщина-библиотекарь нарисовала план: шоссе на Дягучяй, поворот на Дусетос, потом, после второй автобусной остановки, высматривайте указатель. “Место гибели восьми тысяч евреев, расстрелянных немецкими фашистами 26 августа 1941 года”. Слово “евреи” на обелиске казалось невозможной

смелостью, во времена твоей юности это слово употреблялось только в особых случаях — не советскими же гражданами было их называть. Слева и справа — ров, поросший травой, двести тысяч литовских евреев лежат в таких рвах.

Десоветизация коснулась и памятника: русскую надпись убрали. Правильно ли? — решать не тебе, ты бы ее сохранил. Теперь тут две надписи — идиш с литовским. “На этом месте нацистские убийцы и их пособники зверски убили восемь тысяч евреев — детей, женщин и мужчин. Священна память невинных жертв” — идиш. В литовском варианте к пособникам добавлено уточнение — “из местных”.

Были и те, кто спасал. И кто сначала расстреливал, а позже спасал, и даже наоборот — в это трудно поверить, однако бывало и так.

Порядок поддерживается образцовый: ограда, аккуратный бордюр, на обелиске Звезда Давида, на постаменте свечи, флаги Израиля, камушки, кто-то принес небольшой самодельный крест. Этого прежде не было.

— Терпеть, оплакивать, — говорит Томас, — удел литовцев.

Все знают здесь анекдот про то, что последней женой непременно должна быть литовка: будет ко-

му за могилкой смотреть. Нет, это не “женщины сырой земле родные”, напротив — поиски бытового выхода из любой, самой страшной, жизненной ситуации.

По дороге в гостиницу вспоминается невысокий мрачный старик лет шестидесяти, “из местных”, с почерневшим от пьянства лицом, слесарь или электрик, ездил на мотоцикле с коляской, сколько-то лет отсидел: “Полякóв — к стенке. Русских — к стенке. Жидов... — он поднимал глаза на отца, — жидов через одного”.

Теперь бы это с рук ему не сошло, а тогда, хоть и без умиления, терпели: ведь оккупанты. Žydai — другого слова в литовском нет. Старик этот тоже смотрел на себя как на жертву, со всех возможных сторон. Радио “Свободная Европа” вплоть до середины пятидесятых передавало им, лесным братьям, утешительные сообщения: держитесь, ребята, осталось немного, скоро опять мировая война.

На Свенту в прежние времена выезжали на целый день — с пледом и едой, с книжками, с кружками для черники, корзинами для грибов, с волейбольным мячом, и машина была такой, что через ды-

ры в полу виднелся асфальт, и коробка передач была, разумеется, механической. Как же вы подняли на смех маму, когда она, позже уже, с наступлением свободы, приехала из Америки и сообщила, что машины теперь не имеют педали сцепления — такого не может быть! — и она согласилась: вам лучше знать. И как бы хотелось теперь поделиться с отцом простой радостью — от совершенства автомобиля, пусть и взятого напрокат. Дорогу можно не спрашивать — ее указывает навигатор. Он предлагает Свентское озеро, Sventes ezers, — то, что надо. У тебя самого на обложке “Maksimas” написано.

Это что же, граница? Разве Свента находится в Латвии? Конечно, вы ведь ездили в Даугавпилс, когда зачем-нибудь нужен был настоящий город. Там Ленин возле вокзала в шапке-ушанке стоял в любую жару и большая тюрьма. ЛитССР, ЛатССР — границы носили характер не слишком серьезный. А вот и дорога знакомая, с гравием, тут ты учился водить. И лес — больной, неухоженный. Все знакомо: дорога и лес.

Туристов, видимо, мало, и нет запрета на то, чтоб подъехать к воде. Многолюдно на Сvente и не было — одна из причин любить ее, — раньше, однако, здесь был заповедник: никаких костров

и машин. А все остальное по-старому: вот он — песочек, вот плоскодонка с черным, блестящим, жирно просмоленным дном, а вот и мостки, подгнившие, тебе так не хватало мостков. Пробираешься по ним походить и оказываешься по щиколотку в воде. Сушишь ноги, оглядываешься.

“Почему ты все дуешь в трубу, / Молодой человек? / Полежал бы ты лучше в гробу, / Молодой человек”. Не отсюда ли, прячась за теми деревьями, ты оглашал окрестности ревом трубы? “Поэма экстаза”, “Тибель богов” — этот рев ты считал музицированием. “Неритмично, зато фальшиво”. — Друг-пианист, тот, что теперь в Амстердаме, уговорил оставить трубу, перейти на флейту — тихий, чувственный инструмент, — полюбить ее не удалось. Ощущение счастья все равно как-то связывается с трубой.

О тайнах счастья. Последнее написанное отцом письмо заканчивается так: “Собрались вместе — говорим или молчим, и нет уже чувства того, что жизнь состоялась или не состоялась. Иногда я думаю: может быть, мы как раз счастливы?” Пытаешься рассказать Томасу о родителях, но как сообщить тайну личности? — это даже сложнее, чем переводить стихи.

“Нас могут ждать всякие потрясения. Каждого человека они могут ждать, нас тем более. Надо

действовать так, чтобы мы их меньше боялись”. — Отец, например, хорошо помнил, как в какой-то момент (“дело врачей” и вокруг) он не мог найти самой простой работы, как почти что с надеждой ждал депортации на Дальний Восток: лишь бы всем вместе, лишь бы рядом были свои. Письма его носили характер скорее назидательный, он спешил тебе что-то важное сообщить, а для мамы это был способ продлить молчание. “День провела как в поезде: просыпалась, засыпала и ничего не делала.. А болтаю я просто так, нельзя же молчать в письме”.

Некоторое время постоять еще у воды, выкурить сигаретку, повспоминать о чем-то необщем, съесть мандарин. Мертвовато тут, тихо — кладбищенской тишиной.

И лишь вернувшись в гостиницу и изучив обычную карту, бумажную, ты поймешь, что ошибся. Свентес, Швянтас, Швянтойи, Святое озеро и Святая река — названия эти встречаются и по ту, и по эту сторону от латвийской границы. Озеро Швянтас — вот что вы звали Свентой, вот куда ты хотел попасть. Как же ты так обознался, обдернулся? Разница в птичке, гачеке: Šventas ežeras, ехать на юг, на Турмантас, ни в какую ни в Латвию.

Томас скажет: